

Новая газ. - 2001 - 15 - 17 окт. - с. 20

Д екабрь 77-го. Юрий Нагибин записывает в дневнике: «Вчера сообщили: в результате несчастного случая скончался Александр Галич.»

Что там ни говори, но Саша спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний человек, с блестящим обаянием, актер до мозга костей, а сыграть ему пришлось почти что роль короля Лира... Он оказался на высоте и в этой роли. И получил славу, успех, деньги, репутацию начальника за страждущий народ, смелого борца, да и весь мир в придачу. Народа он не знал и не любил, борцом не был по всей своей слабости, изнеженной в пороках натуре, его вынесло наверх неутоленное тщеславие. Если б ему повезло с театром, если б его пьески шли, он плевал бы с высокой горы на всякие сводободобивые затеи. Он прожил бы пошлую жизнь какого-нибудь Ласкина. Но ему сделали высокую судьбу. Все-таки это невероятно. Он запел от тщеславной обиды, а выпелся в мировые менестрели... Вот, поди ж ты!.. И все же смелость была, и упорство было — характер! — а ведь был человек большой, надорванный пьянством, наркотиками, страшной Анькой».

Пишет человек, для которого Галич, как для меня, был Сашей и другом (вот только в периодах мы не совпали с Нагибиным: он дружил с ним в его допесенный период, а я же возник в жизни Галича, когда знаменитые песни уже рождались, а репутация перестала устраивать власть). Пишет, застигнутый врасплох и смертью, и самой мыслью об «удачливости», оттого искренне. И удивляюсь, как начитанный Юрий Маркович не заметил коварного сходства своего монолога зависти с другим, из «Мастера и Маргариты».

Помните графомана Рюхина, взвешегося на «Пампуш» — на памятник Пушкину? «Вот пример настоящей удачливости... какой бы шаг он ни сделал в жизни, что бы ни случилось с ним, все шло ему на пользу... Повезло, повезло!.. стрелял, стрелял в него этот белогвардеец и раздробил бедро и обеспечил бессмертие...»

О, не равняя Александра Аркадьевича с Александром Сергеевичем — это логика зависти равняет завидующих и тех, кому завидуют. Логика зависти или неприязни, как вышло с Галичем, когда милейший Алексей Николаевич Арбузов, не тем — но, к несчастью, выходит, и тем — будь помянут, назвал его в час исключения из Союза писателей «мародером». За что? За то, что, избежав лагерей, осмелился петь и писать от имени зэка...

Когда торжествует такая логика, нормальная — бессильна. И неважно, что «деньги», которым вроде бы позавидовал (!) Нагибин, это, наверное, те, что Галич, исключенный повсюду, лишенный работы и заработка, получал от друзей или за продаваемые книги. А обретенный «мир»... Помню документальные кадры шведского, что ли, фильма: Галич с эстрады выкрикивает сквозь непочтительный шум «Когда я вернусь...», а вокруг шевелится, жует, не слушает чужой, в основном темной люд...

Что же до «мародера» — да ведь это означает просто художник! Заставляющий нас поверить в сопричастность к героям, в кои он вжился («Эмма — это я») настолько, что когда вышла первая книга Галича, — разумеется, там, — аннотация сообщала: автор, дескать, провел в ГУЛАГе двадцать лет. Помню, как Галич, смущенный, советовался с наивной беспомощностью: как быть? Да никак. Не давать же опровержение в «Правду».

Любопытно, однако: и за завистью, и за «мародером» было нечто, объединявшее раздраженных превращением Галича с теми, кто, наоборот, восхитился, — недоумение. «Все-таки это невероятно».

Еще в 1964 году энциклопедия могла сообщить: «Галич Александр Аркадьевич (р. 19.Х.1918, Екатеринослав) — рус. сов. драматург. Автор пьес (таких-то, самая популярная — «Вас вызывает Таймыр», водевиль. — Ст. Р.)... Г. написал также сценарии кинофильмов (опять же — больше других помянуты «Верные друзья». — Ст. Р.)... Комедиям Г. свойственны романтизм, приподнятость, лиризм, юмор».

И то, что нынче кажется именно юмором, правда, черное: «Г. — автор популярных песен о молодежи».

Да, была, например, такая, на всеобщих устах: «Протрубили трубаچی тревогу... До свиданья, мама, не горюй, не грусти...» Сам Галич потом вспомнил иронически и печально: «Романтика, романтика небесных колеров! Нехитрая грамматика небитых школяров».

И вот по одну сторону — благополучный, в общем-то, драматург; по крайней мере, так выглядело на поверхности, куда не доносились скрипы и стоны запрещенных спектаклей, изувеченных пьес, заду-

«там» уверяли, что это дело длинных рук КГБ, в отчизне валили на ЦРУ, которому уже был не нужен этот жалкий предатель и клеветник.

За смертью Галича последует столь же нелепая гибель «Аньки», Ньюши, как называл ее он и мы все за ним, бывшей эксцентричной красавицы Ангелины Николаевны: она, обезножившая к концу жизни, сторела или задохнулась в пожаре их парижской квартиры. Погибнет и Галя, Ньюшина дочь и Сашина падчерица, оставшаяся в СССР и, конечно, за порочащее родство выгнанная в Музей изящных искусств...

Что ни говори, а действительно — «это невероятно».

Признаюсь: и мне, который в отличие от того же Нагибина, невзлюбившего песни Галича, сразу и радостно их признал (как многие, многие, тут нечего хвастаться проницательностью), иные из его «судьбоносных» поступков казались капризами самолюбия. Как-то сидим у него, естественно, выпиваем, и Галич, как мне ревниво кажется, уж слишком волнуется: «Андрей... Сейчас Андрей придет...» Приходит Сахаров и молча сидит, прелестно наклонив голову и пережидая наш гомон. Страш-

ризонально-протяженной, она вся — вертикальный подскок. Рывок. Перелом.

Еще из смешных воспоминаний. Прихожу к Галичам — уже в пору гонений и безработицы; дверь открывает Ньюша. Облобызались по московской привычке: «Заходи. Только прости, Саша сейчас появится. У него маникюрша». И я, во всяком случае мысленно, со всем плебейством своим сползаю от смеха на пол.

Пока еще модно было смеяться, насмешничать. Скоро станет не до того.

поющему Галичу, дабы осчастливить этим известием...

Стоит ли подобное воспоминание? Ей-богу, не знаю, оправдываясь лишь тем, что, вспоминая, не могу оторвать простецкого быта от контуров бытия, проступавших в судьбах тех же Коржавина или Галича. Балагана — от драмы.

Итак, сидим, обсуждая уже решенный Сашин отъезд, он, предполагающий, что предостит зарабатывать чтением лек-

Петровым — я из боязни подпеть не решился б сказать, что там Галич не писал ни строки, сравнимой с тем, что он писал тут. Сейчас решаюсь, размышляя: почему так? И ответа — не находя. Может, нуждался в любви внимательной аудитории? (Да какая аудитория! Ее — в смысле буквальном — он обрел как раз за границей, а ему нужен был круг, кружок: песня ведь не роман, не поэма, у нее два полюса, два соавтора — сам поэт и тот, кто внимает.) Да, по правде, грешу и на вкус Владимира Максимова, под лютое чье влияние угодил Галич и кто тянул его от столь удавшейся «Зошенкиады» к «гражданскому» пафосу... В этом ли дело?

Опять же не знаю. Как не понимаю, как и откуда возникло чудо его настоящих песен, — ведь не из шутейного же состязания, даром что он сам говорил: «Булат может, а я не могу?»

Да чудо и должно возникнуть непонятно как.

Конечно, Галич имел право с достоинством ответить на вопрос, который ему задали еще до отъезда на Запад, на каком-то здеешнем полудегальном сборище: не стыдится ли он того, что писал до? Нет, сказал Александр Аркадьевич, не стыжусь. Работа есть работа, другой я не знаю, но ни в единой строке, которую я когда-либо написал, я не погрешил против Бога.

Правда, тот же вопрос, как видно, сидел в нем самом, и однажды в писательском Доме творчества, где показали фильм по его сценарию, Галич обеспокоенно спросил у друзей: «Ребята, скажите честно: там нет подлости?»

Обеспокоенность как будто имела резон. Фильм назывался «Государственный преступник», и в нем сотрудники КГБ с лицами бабятельнейших советских актеров ловили... Нет, все же не внутренне-го врага, а фашистского прихвостня, карателя из СС. Так что мы имели возможность честно ответить: «Успокойся, подлости нет. Фильм просто дерьмовый».

Прежний, «старый» Галич, драматург и сценарист, был нормальным советским писателем. Даже легендарная «Матросская тишина» — пьеса, с которой собирався начать свой славный путь ефремовский «Современник», — даже она, запрещенная главным образом из-за «еврейской темы», есть, в сущности, образцово-советское произведение. Образцово! Не софреновско-суровская стряпня, компрометирующая своей бездарностью самих заказчиков, а то, что представляет советский строй способным самокритически разобрататься и со своим гулаговским прошлым, и с неизжитым антисемитизмом. Короче — образцово-советским.

И когда Галич дал мне прочесть «Матросскую тишину» — уже годы спустя после несостоявшейся премьеры, — я, чем не горжусь, отозвался бесцеремонно: «Это о том, что евреи любят советскую власть не меньше, чем все остальные».

Он удивился. Но не обиделся — и, полагаю, не потому лишь, что время притупило боль от неудачи любимой и, разумеется, лучшей пьесы (не притупило — в поздней одноименной прозе боль остро вспыхнула снова). Просто моя непопулярная прямолинейность могла даже польстить авторскому честолюбию умного человека, уже были великие песни. С уровня, на который поднялся, взлетел их автор, на прежне можно было смотреть снисходительно.

...Но что же он написал, что создал, чем поразил, когда уже миновало до и еще на настало после?



Станислав РАССАДИН

ВЕЗУЧИЙ ГАЛИЧ

Вспоминая его в Москве 60-х, не могу оторвать простецкого быта от контуров бытия. Балагана — от драмы



Одна из последних встреч. Сидим... Угадали: подогревая беседу все тем же привычным способом, и, коли он с неизбежностью поминается, как не отметить особо эту непочтенную и непрямую примету времени. В ее эволюции.

У Вайля и Гениса в книге о 60-х годах (очень талантливой и ну совершенно неадекватной тому, что и, главное, как оно было) одна фраза точна безупречно: мол, для того, чтобы дружить в ту эпоху, нужно было иметь здоровую печень. Увы, так, хотя подозреваю в своем «увы» толику нынешнего ханжества.

Один из драматичнейших моментов моей жизни — то, как мы провозжали туда Наума Коржавина, Эмку, твердо веря, что навсегда. Уже в «Шереметьеве», когда он, рыдающий, уходил от рыдающих нас в какую-то дверь, мы с поэтом Корниловым разом невольно подпрыгнули, чтоб еще миг видеть Эмкину спину, и Володя сказал страшно и точно: «Как в крематории». Но за день до того — гуляем в квартире Коржавина, куда немалым образом вместились... Двести? Триста друзей и знакомых? Саша Галич, сидя с гитарой на чем-то низком, вроде козетки, поет, хитроумный Юра Карякин, похитив большую часть водки, разлил ее по стаканам, расставил их кругом на пианино, к каковому меня и прижал, вкручивая что-то замечательное о Достоевском; появляется в шлепанцах сосед по подъезду Юз Алешковский, спросив меня: «Выпить хочешь? Идем на кухню, я там бутылку спирта спрятал в мусоропровод», и я по долгу дружбы протискиваясь к

ций (о чем? для кого?), спрашивает: «Как ты думаешь, я могу там говорить все, что думаю о Семе Исраилевиче?» То есть, понятно, о нашем общем друге Липкине. «Конечно, нет! Он-то здесь остается...» И, время спустя, входит Ньюша, чей вид меня ужасает. Недавняя «Фанера Милославская», как она весело рекомендовалась, повторяя прозвище, данное ей артистом Лепко, сейчас тяжела, тучна, с опухшим лицом. Так пьют уже не для веселья и куража, а от безысходности. Когда хмель оборачивается похмелем — и человека, и времени.

«Ста-асик, а Саша меня бросает!» Галич — он в самом деле подумывал, чтоб ехать сперва одному и, уже осмотревшись, вызвать ее, — зло посылает Ньюшу крутым матом... Страшно. Разрушенный — недавно такой изысканный — был. Переломная судьба, и вольно еще было стараться шутить. «Я сейчас в том положении, — говорил Галич, — как товарищ из моего южного детства. Он как-то залез на дерево, это увидела из окна его мать, выскочила во двор, трясет ствол и кричит: «Слезай, я тебя убью!» А он боится — и слезать, и с дерева грохнуться...»

Как там, бишь: «Ему сказочно повезло»? «Он получил славу» — с миром в придачу? Но славу он получил, заработал не в эмиграции.

Тема, которая, слава богу, перестала быть щекотливой. Это раньше, когда полагалось твердить, что, покинув Россию, Шалапин тут же обезголосел, Рахманинов пал, Бунин испарился, и твердили: не только А. Н. Толстой, но и Ильф с

шенных замыслов. Но это — где-то там, в неразличимой для публики глубине, а на виду: киношник, водевильщик, светский шеголь и шмоточник, баловень, бонвиван, остролов, без кого не обходились элитные сходки театрально-литературно-кинематографической Москвы.

А по другую сторону — сочинитель мгновенно и опасно прославившихся песен — уже бег «романтич. приподнятости». Выпертый отовсюду, поднадзорный диссидент, друг и сподвижник Андрея Сахарова. Наконец, эмигрант... Верней, наконец — это дурацкая гибель от электрошока, естественно, породившая и дурацкие слухи:

но он мне понравился, однако, по молодой своей глупости и нетрезвости, уходя, задерживаю Сашу в прихожей: «Что ты так суетишься? Эти академики наделали бомб, вот теперь и каются. А тебе в чем каяться? Ты — поэт...»

Вспоминаю с виноватой улыбкой, как озадачился Галич: то, что я сдуру сморозил, для него как бы лестно. Но...

Между тем все так просто, и линия судьбы, подчинившей себе Александра Галича, подчеркнута не им и давно: «Не я пишу стихи. Они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их» (Пастернак, из Тициана Табидзе). Другое дело, что линия вышла не го-

(Окончание следует)